

РАЗМЫШЛЕНИЯ И РАЗБОРЫ

(Соч. П. А. Катенина)

СТАТЬЯ II.

(Окончание)

Аякс, обделенный наградою от неблагодарного войска и неприязненных вождей, сходствует несколько положением с Промефеем и Филоктетом; но его душа сперва изнемогла совершенно, разум его помрачился от гнева, и в смешном порыве бешенства избил он стадо животных; он оставил нескольких в живых, мечтая видеть в них ненавистных Улисса и Атридов, вооружился бичом для наказания их и в безумии хвалится своею мнимой победой. Сие первое появление героя, может быть, слишком унизительно; жалость к нему смешана с каким-то смехом, и трагедия с высокого котурна¹⁶ спустилась на землю. Неизбежный, как кажется, недостаток обращается вскоре в источник красот. Пришед в себя, устыдясь своих дел, герой решается умереть; он должен оставить нежную жену и сына в младенчестве, оставить их без помощи на произвол судьбы и озлобленных врагов, должен обманывать их для совершения самоубийства, казаться спокойным в отчаяньи и утешать пред неутешным ударом. Все сие превосходно; Аякс и Текмесса нарисованы совершенно, и прощальная речь героя перед самоубийством образцовая, к сожалению, конец трагедии вял и растянут; с прибытием Тевкра тотчас по смерти брата начинается новое действие: спор с Атридами о погребении умершего и великодушное за

него ходатайство главного его врага Улисса. Тщетно оправдывать сию перемену участия частными красотами; они не у места; тщетно ссылаться и на религиозную важность похорон у древних: важность сия и в наших нравах весьма понятна, но дело не в том. Критики-защитники опираются на “Антигону”, где все действие основано на предприятии сей царевны схоронить Полиника вопреки указу Креона и на казни ее за исполнение священного долга; но там участие одно неизменно и беспрестанно возрастает, переходя от погребения мертвого к погребению живой. В “Аяксе” же напротив: главнейшее свершилось, герой наложил на себя руки, и мы желаем одного: чтобы вдова и сирота нашли скорее защитника. Он является в лице Тевкра, сего довольно; занавес должен опуститься и скрыть от нас лишние, непристойные прения ожесточенных гонителей, тем паче, что они наконец уступают и вражда их не производит ничего.

Несмотря на сие, я предпочитаю “Аякса” “Антигоне”; в последней не нахожу я тех высоких достоинств, той чистоты очерка, той природы и простоты, что в первом. Отвратная жестокость Креона, подлость старцев, составляющих хор*, юношеский пыл Гемона, малодушие и потом раскаянье в нем Исмены, мужество Антигоны, развязка, ужасная гибелью целого семейства, все это по мне слишком мрачно, ярко, подвижно, эффектно для сцены древних и более похоже на вкус Эврипида и новейших трагиков, нежели на обычную тишину творца “Аякса”, “Филоктета” и двух “Эдипов”.

* Хор в “Антигоне” пристрастен, несправедлив, не согласен с чувствами зрителей: единственный пример во всем греческом театре, еще бы вероятный у Эврипида, но совершенно изумляющий в Софокле.

Сие имя первое представляется воображению, когда речь идет о Софокле. И действительно, две трагедии, в коих представил он таинственную, страшную и наконец умиленную судьбу, властную над деяниями, бессильную над волею человека, суть достопамятнейшее творение второго из греческих трагиков. Правда, что важность и глубина предмета сильно содействовали к торжеству художника, но зато они же и требовали гения необычайного для исполнения; теперь, конечно, легко, переводя Софокла сценами, производить отчасти то же действие, но самый успех подражателей там именно, где они сумели не отступить от образца своего, служит ему же похвалою. Постепенное раскрытие страшной тайны отцеубийства и кровосмешения в первом “Эдипе”, любопытство царя, на опыте основанное презрение Иокасты к предсказаниям, угрозы оскорбленного за правду Тирезия, простодушие двух пастырей, коих сострадание к младенцу в гибель ему обратилось, составлены так искусно в одно целое, возбуждают участие столь постепенно и непрестанно, что вряд ли на каком театре найдется в отношении хода что-либо подобное. Одна только в нем погрешность: бесполезное обвинение Креона; и здесь не согласен я с пристрастным заступлением некоторых критиков, оправдывающих это гневливым характером Эдипа. Его нравственные свойства маловажны в сравнении с его невольным преступлением и несчастьем; все, что развлекает внимание зрителя к ним, вредит впечатлению и смыслу трагедии.

“Эдип в Колоне” в отношении к “Эдипу-Царю” то же, что “Одиссея” к “Илиаде”. Содержание чрезвычайно просто: невольный преступник, несчастнейший из

смертных, судьбою гонимый, сам казнивший себя слепотою, бесчеловечными сынами и бесчувственным народом изгнанный из своего дома и отчизны, ищет могилы на чужбине. Нежные дочери, спутницы нищего отца, привели его по неисповедимой воле богов в землю счастливую, изобильную всеми благами жизни и, что более, обитаемую народом благим и гостеприимным, царем мудрым и благочестивым. Преступный Полиник и злой советник Креон приведены туда же, каждый своей нуждою; и тщетно моление того и насильство другого: правый торжествует, и виновники со стыдом удаляются. Сколь строго было испытание богов над Эдипом, сколь страшен пример, поданный в нем слепой гордыне человеков, столь же велика награда страдальцу: смерть чудесная, святая, за которую воображение представляет себе вечный и безмятежный покой. Добродетельные дочери остаются под защитою великодушного народа, отныне непобедимого, ибо гроб Эдипа оставлен ему навсегда залогом побед. Есть предание, будто Софокл, под старость укоряемый в безумии детьми, читал судьям в оправдание часть сей трагедии и был громко оправдан всеобщим восторгом народа; по крайней мере так быть могло: кроме достоинств повсеместных, здесь так много лестного для афинян в особенности, что трудно бы им было не восхититься сим бессмертным творением. Советую всем, кто не довольно знаком с греками, прочитать со вниманием отзыв Шлегеля о сей трагедии; сей отличный критик понял ее красоты и умел их выразить с красноречием редким, на которое мне остается только указать. Достоинно замечания, что в малом количестве трагедий русских, заслуживающих остаться на сцене, находятся “Эдип-Царь” и “Эдип в Афинах”¹⁷.

**“Трахинянок” (смерть Иракла) Шлегель
колеблется признать за сочинение**

156

Софоклово: слишком строго. Есть у него трагедии лучше, правда; но одно лицо Деяниры уже показывает великого художника.

Не знаю, кому принадлежит “Рез”, но едва ли Эврипиду, под чьим именем он известен: и достоинства и пороки сей трагедии отнюдь не в его роде.

Об Эврипиде судит Шлегель, конечно, весьма неблагоприятно, но по большей части основательно и дельно; и нашего времени романтики, признающие немецкого критика своим учителем и славою, хорошо бы сделали, если б, прочитав со вниманием замечания его, употребили в наставление себе. В самом деле, все пороки, замеченные им в Эврипиде: неуважение к славным предшественникам и иногда насмешки над ними, желание прежде всего понравиться и попасть на вкус современников, угождение чувственным наклонностям и временным прихотям на счет непременных правил искусства, истины, простоты и приличия, предпочтительный выбор предметов новых, неслыханных, невероятных, любопытных — все эти замашки, общие у всех литературных раскольников, как бы они ни назывались, у всех пишущих на новый лад, потому только, что он нов, на то время ” чести и что так писать и легче и прибыльнее. Современник и соперник классика Софокла, Эврипид, был точно афинский романтик; оба имели своих особых почитателей, но числом у Эврипида больше; он в

раннем потомстве знан был образцом драматических стихотворцев, и безгрешный Аристотель (Шлегель того времени) провозгласил его торжественно всех более трагиком: позднее потомство едва ли уже не перерешило.

Из поэтов многих, с кем та же беда по тем же причинам случилась, всех разительнее пример Эврипида, ибо сверх ложного блеска, которым он слепил глаза в свое время, видно в дошедших до нас его творениях (а многие из лучших пропали) дарование чрезвычайное, чудное знание сердца и страстей, очаровательная прелесть в речах и разговорах. Природа точно создала его первым трагиком всех веков и земель, и он сам виноват, коли между своими занимает теперь только третье место. В отношении к новейшим сочинителям, конечно, дело другое: один Расин мог бы войти в состязание благодаря последним, зрелым плодам своего гения, двум библейским трагедиям, чистым от всех придворных и французских зараз¹⁸; что же до Шекспира, то, предполагая в нем и равный с Эврипидом врожденный дар, легко видеть всякому, кто умышленно не зажимает глаз, что он по всем обстоятельствам не мог иметь ни тех сведений, ни того изящного вкуса, ни даже того терпения и досуга, без коих никакой гений не сотворит трагедии, достойной у беспристрастных и знающих судей стать наравне с Мельпоменой афинской.

Опричь сомнительного “Реза”, дошло до нас семнадцать Эврипидовых трагедий; но кроме неудачной “Электры”,

нет ни одного из тех содержаний высоких, важных и, так сказать, крупных, которыми занимались Эсхил и Софокл; вместо их семейственные картины: “Андромаха”, “Медея”; философические против суеверия: “Ифигения в Авлиде”, “Гекуба”; политические на обстоятельства: “Просительницы”, “Ираклиды”; с великолепным спектаклем: “Троянки”, “Вакханки”; с театральными ударами: “Бешеный Иракл”, “Орест”, “Финикиянки” и напоследок драматические сказки: “Ион”, “Елена”, “Ифигения в Тавриде”. В целом далеко лучшие суть “Иполит” и “Альцеста”; в прочих заслуживают похвалу, конечно, места, но места превосходные. В множестве нельзя указать на все; в числе известнейших от частых переводов и подражаний явление Поликсены в “Гекубе”; оно прекрасно, но есть еще лучшие, например: явление матери Пенфея с головою сына в руках в “Вакханках”, плач Андромахи над Астианаксом, осужденным на смерть, в “Троянках” и начало “Ореста”, где он лежит больной под присмотром сестры. Такие сцены стоят несравненно дороже целых трагедий посредственных, даже хороших, принимая это слово в обыкновенном его употреблении.

Эврипид имел знаменитого поклонника и подражателя в Расине. Многие спрашивали: почему, переделав четыре трагедии сего творца, он не заимствовал ни одной у остальных двух трагиков афинских? Я полагаю, потому, что, одаренный необыкновенным чувством приличий, он убедился, что содержания, подобные “Ифигении” и “Федре”, гораздо удобнее переносятся на сцену французскую, нежели чуждая новейшим понятиям судьба Эдипа, злодейство

Клитемнестры, немилосердное мщение ее детей, безумие Аякса, телесное страдание Филоктета и сверхъестественное величие Промефея.

“Киклоп” Эврипидов — единственный образчик, оставшийся нам от целого рода греческих драм, называемых *сатирами*, не потому чтобы в них было, что мы по другому словопроизводству сим именем зовем, но по составу хора в сих пьесах из сатиров, леших Эллады. В состав сих драм входили все события героических времен не совсем трагические, с примесью комического и сельского быта. Нет сомнения, что многие из сих сатир, над коими трудились те же бессмертные стихотворцы, должны были вмещать в себе тьму красот идеальных, грекам особенно сродных. Шлегель думает, что первая часть трилогии “Промефея”, где сей титан грубым еще и диким людям приносит небесный огонь, была сатира: если так, чего нельзя от ней ожидать! Крайне жаль, что такие сокровища пропали, но нечем пособить. Содержание “Киклопа” взято из “Одиссеи”, трагическая половина имеет достоинство, и роль Улисса вообще хороша, но шутки греческих козлоногих¹⁹ на всякий вкус не придутся.

Комедия у греков была, как известно, не одна, а две, и столько различные между собою в существе своем, что их не следовало бы называть одним именем, отчего произошло много недоразумений и бесполезных споров. *Комедия древняя*, коей образцы дошли до нас в творениях Аристофана²⁰, была в драматической поэзии точно то, что английские карикатуры в живописи; в ней было пропасть ума, остроты, соли, политической и литературной сатиры; недоставало только природы. Я уверен, что, родясь афинским гражданином, я бы дорого ценил ее как союзницу народной свободы, смелую

обвинительницу всего вредного, веселую гонительницу всего нелепого; сожалел бы о запрещении ее по указу подозрительных властолюбцев,

158

подручников Лакедемона²¹; постигаю и теперь, как важны остатки ее для историка, законоведника, археолога, но не могу постигнуть, чем восхищаются в ней нынешние эстетики. Внутреннее ее достоинство, ее душа, состояло именно в том, что в ней было местного, единовременного, на случай сделанного и сказанного; большая часть этого не про нас писана, и остальное только что понятно, но даже ничуть не забавно, а наружный вид ее, или тело, как во всякой карикатуре, грубо и безобразно, холодно частою примесью аллегории, не пристойно отвратно умышленным искажением природы и человека. Эллинисты восхищаются чистотою языка в Аристофане и лирическими красотами некоторых его хоров: верю, но сии достоинства не касаются предмета, о котором здесь речь идет.

Новая комедия греков дошла до нас не в подлинниках, а в латинских подражаниях Плавта²² и Теренция²³, почему и оставляю себе говорить о ней при взгляде на римский театр.

Мудрено судить о лириках тому, кто не читал их на их языке. Анакреон²⁴ и немногие сохранившиеся стихи Сафы²⁵ слишком известны по множеству переводов и подражаний; имена их даже слились в употреблении общем с двумя отраслями эротических стихотворений, и

назвать их превосходными, каждого в своем роде, было бы не новое никому.

Пиндара²⁶ знают гораздо менее, ценят гораздо несогласнее; иные, как Лонгин, ставят его на высшую степень пиитической славы²⁷, другие (правда, не знающие по-гречески) видят в его одах галиматью; я недоволюсь короток с ним, чтоб разделять по чувству мнение первых, и боже упаси меня от дерзости вторых! Замечу только, что едва ли не по предубеждению все, даже Боало²⁸, толкуют об искусственном беспорядке, о порывах, скачках и прыжках Пиндара; если б, судя о поэте, позволено было употреблять метафоры, я бы скорее применил движение од его течению многоводной реки, пространными изгибами медленно стремящейся к цели, веселящей взоры пловца обилием и разнообразием берегов.

За правило поставив себе говорить о том только, что знаю как должно, я едва упомяну о древнем Гесиоде²⁹ и о новейших эпиках греческих: Аполлонии³⁰, Квинте³¹ и Нонне³². Эллинисты прославляют в них множество красот; убежденный в превосходстве греков, верю и жалею, что, два раза покушавшись выучиться эллинскому языку, отстал, узнав, что не во всяком возрасте даются языки человеку.

Мне остается сказать еще об одном гениальном греческом поэте: о Феокрите³³. Его идиллии, или мелочи, составляют весьма небольшую книгу, но драгоценную. Царь латинских стихотворцев, Вергилий, подражал ему столько же усердно, как и самому Гомеру; и тут, может быть, Феокрит оказался еще более неподражаемым, нежели сам отец стихов. Идиллии Феокритовы чрезвычайно разнообразны: “Аргонавты” кажутся отрывком из “Илиады”, “Иракл” живо

напоминает “Одиссею”; “Киклоп” и “Волшебница” едва ли не превышают в изображении страстной любви все, что нам древность передала, “Сиракузянки” — прелестная маленькая комедия, “Брачная песнь Елены” — чудо в своем роде; но большая часть идиллий просто сельские, и в них особенно удивления достоин дар их творца: сколько простоты, жизни и поэзии! Смело можно сказать, что они навсегда останутся единственным, досадным образцом для вуколических писателей и что счастлив, кому удастся хоть близко подойти к их совершенству. Исключая Virgiliya, Феокриту не было счастья на переводчиков; ни на каком языке

159

его творения не переданы достойно; у нас же об этом и подумать нельзя, особенно нынче, когда мода романтизма отвлекает всех от самого чтения классиков, не только что от бесплодного труда их перелагать, за который никто и спасибо не молвит.

Бион³⁴ и Мосх³⁵, последователи Феокрита, оставили по себе тоже прекрасные идиллии, несравненно лучшие всех после написанных; но от них до него то же расстояние, какое от самых лучших эпиков других до Гомера.

Преиду молчанием греческую “Антологию”³⁶, ибо что можно сказать вкратце о множестве безделок, разными людьми и о различных весьма предметах написанных? Вообще там хорошего много, но отменно хорошего мало.

160